

ОТВАГА СДЕЛАТЬ ВЫВОД

С. Б. Джимбинов и спецхран

В статье исследуются данные, приведённые профессором Литературного института С. Б. Джимбиновым относительно структуры советского «спецхрана» — арестованных книг и других печатных изданий. Делается вывод о смысловом наполнении современной российской культуры в целом: автор полагает, что функции «спецхрана» сегодня успешно берёт на себя «невидимая рука рынка», «коммерческая цензура», вследствие чего лучшие произведения отечественных авторов до читателя не доходят.

Ключевые слова: Джимбинов, Литинститут, спецхран, СССР, Главлит, новояз, 1980-е гг., цензура, идеологические запреты, табу, идеология, Россия, богословие.

Эти заметки написаны по долгу памяти перед одним из самых рельефных и, как сказали бы в театре, характерных моих учителей в Литинституте.

На рубеже 1990–2000-х гг. Станислав Бемович был одним из тех, кто, как мог, способствовал моей так и не дописанной кандидатской диссертации по Филипу Ларкину — фигуре сколь оригинальной и броской, столь и спорной, не прояснённой для российского читателя. При том, что интересы Станислава Бемовича лежали несколько в стороне от заявленной мною диссертационной темы, он, с присущей ему пронизательностью, наскоро просматривал изложение моих соображений и блестяще выделял те из них, которые можно было бы впоследствии развить в доказательные тезисы...

Сегодня, просматривая сохранившееся из его наследия, я обращаюсь к тому, что так же лежит весьма далеко от сферы моих интересов, но является частью его мыслей и дум, и, одновременно, характерно для общественной атмосферы самого конца 1980-х гг.

Речь идёт о статье «Эпитафия спецхрану?...»¹

В этом труде Станислав Бемович делится с гуманитарной общественностью тогда ещё Советского Союза несомненно радостной вестью: полки спецхрана в 1987–1989 гг. покинули некоторые (не более 80 % всего фонда) осуждённые

* Сергей Сергеевич Арутюнов — доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени А. М. Горького (Москва, Российская Федерация); aruta2003@mail.ru

¹ Джимбинов С. Б. Эпитафия спецхрану?... // Новый мир. 1990. № 5. С. 243–252.

издания, припоминает, что столкнулся с институцией «специального хранения» на втором курсе Литинститута, и отмечает уже с поэтической вьедливостью, что у новоязовского эвфемизма «спецхран» «ампутированы обе конечности».

«Ампутацию» окончаний Станислав Бемович полагает серьёзной социолингвистической болезнью, в результате которой из речи вытесняются живые слова, а на место их становятся «слова-инструменты и слова-орудия», семантически не достигающие, очевидно, до безусловности (условности?) научной терминологии, оставаясь этаким, я бы сказал, «сленгом эпохи». Поразительно, но в качестве примеров уродливых образований новейшего времени С. Б. упоминает ещё сравнительно редко употребляемые в 1990-м «компромат» и «беспредел».

«Слова вернутся, когда вернётся настрой души, который их породил», — пишет Станислав Бемович, имея в виду слова настоящие, то есть образованные органически, а не методом усечения...

В 1989 году общий объём советского спецхрана составляет более 300 тысяч книг, 560 тысяч журналов и 1 миллион газет. Для сравнения в конце статьи приводятся данные о запрете книг в XIX веке — 248 единиц.

Глобальная география советского спецхрана расписывается дотошно и с толком, и первый тезис — о принципиальной алогичности института запрета.

Логика наизнанку: в спецхране нет дореволюционных книг, газет и журналов, за исключением расистской и порнографической литературы, в которую необъяснимо попал невиннейший, по словам Джимбинова, роман Октава Мирбо «Дневник горничной».

Книги попадают в закрытый фонд:

- из-за отсутствия цензурного разрешения, то есть произведения прямых и косвенных врагов Советской власти, от деникинцев до махновцев;
- из-за того, что, будучи изданными на советской территории с 1918 по 1936 г. и пройдя цензуру, издания упоминают имена «врагов народа» — от 7 до 8 тысяч томов;
- из-за того, что просто были изданы на иностранных языках, самый большой отдел хранения, обрисовывающий истинные масштабы властной паранойи — 260 тысяч томов, включая книги на суахили и малаялам;
- из-за того, что советской цензуры не проходило практически ничто, изданное на русском языке по всему миру, — литература эмигрантская, включая любые стихи вне малейших намёков на свержение советского режима или героизацию его оппонентов.

Так как Советская власть не могла тратить на закупку русскоязычных изданий за рубежом, фонды спецхрана пополнялись за счёт таможенного, почтового и иного — тоже слово-обрубков — *конфиската*, называвшегося «Дар Главлита» — главного цензурного органа СССР, пометка о котором («Дар Гл.») неуклонно стояла за задней странице книжной обложки.

Цензура, напоминает Станислав Бемович, возникла на следующий день после воцарения Советской власти с запрещением кадетских печатных органов, Главлит же возник декретом от 6 июня 1922 года — года образования СССР — под водительством комиссара Лебедева-Полянского. В разработке нормативов спецхрана участвовала Надежда Крупская (во всяком случае, её подпись стоит на одной из первых инструкций). Окончательное складывание Главлита — 1930-е гг., когда Троцкий изгнан настолько, что арестовываются, *во избежание*, даже все пять изданий книги Ленина «О Троцком и троцкизме».

В 1960-е гг. выпускают Пильняка, Бабеля и Васильева — но тут же затворяют Солженицына, и т. п., и постоянно — в 1970-е гг. усложняется структура: шестигранников — пометок о закрытии книги номерным цензором — становится в отдельных экстремальных случаях целых два, как в случае с Троцким и Солженицыным.

Даже в 1988 году машина продолжает работать как ни в чём ни бывало — из библиотек пробуют изъять работы Брежнева, Суслова, Гришина и Черненко!

Мои вопросы здесь таковы.

Откуда такая обморочная стыдливость идеологов от сохи перед выделениями, казалось бы, собственного организма, эта истерическая фригидность? Была ли русская культура такой веками, или это чуждый ей, привнесённый иными традициями элемент?

И что же такое тогда — Просвещение, которому ещё не просвещённый, но страстно хотевший просветиться мир поклонялся ещё совсем недавно, приблизительно при нашем Петре? Что есть Просвещение российское и мировое концептуально и философски, если, даже спешно ликвидируя гуманитарные провалы, открыватели заслонов и запоров за четверть века так и не смогли достичь всеобщего счастья? Может, и не было в этих арестованных и сосланных томах ничего из того, что могло бы его принести?

Понимали ли цензоры, что, лишая несколько поколений всего, на их взгляд, подозрительного и вредного, они являются лишь временным фактором, брёвнами на пути того самого «Просвещения», или легкомысленно рассчитывали на вечность наложенных табу?

Не голый запрет, но «активировка» — сожжение и переработка изданий на другие издания, могла бы кое-что гарантировать, но уничтожить весь тираж подчистую — задача физически почти невозможная даже при широких возможностях режима.

Станислав Бемович вспоминает одну из самых фундаментальных запрещённых работ — «Русская поэзия XX века» под редакцией И. С. Ежова и Е. И. Шамурина — том в 670 страниц и несколько тысяч стихотворений, уничтоженный почти полностью... фактически из-за посвящения Безыменского Троцкому. Эту книгу Алексей Каплер дарил Светлане Аллилуевой...

Перечисляются: «Формальный метод в литературоведении» Бахтина, безобидный сборник 1930 года «Как мы пишем», гоголевские «Размышления о божественной литургии» и тютчевские статьи, «Бесы» Достоевского, Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьёв, Тэн, Ницше, Лев Толстой, Лесков... Если и искать здесь по-марксистски «диалектику», она обнаруживает себя лишь в том, что Тютчев и Майков возглавляли во время оно Иностраннный цензурный комитет...

Из первичной главлитовской инструкции за подписью той же Крупской: «Отдел религии должен содержать исключительно антирелигиозные книги». Тотальный антирелигиозный фантазм на десятки лет скрыл от читателя и фактически уничтожил многовековое русское богословие. Станислав Бемович пишет: «Нет такой обычной русской фамилии, на которую не было бы однофамильца-богослова с десятком, а то и двумя десятками учёных трудов».

Вот это борьба с идеологическим противником... почище любой рыночной конкуренции: под корень! Не приведи Господи спросить — кому могло

бы помешать на фоне фатального искоренения приходов одно или два несмелых уточнения приходского священника о божественной и человеческой сути Иисуса Христа? Всё-таки не Троцкий же, в самом-то деле... «После таких массовых чисток — разве что в домашних библиотеках, и то...» — меланхолически отмечает Станислав Бемович, указывая на мизерные тиражи богословских книг — в среднем по 600 экземпляров (естественнонаучные издания — 1200).

А изъятие в 1931-м из школьных библиотек всех книг, изданных «по старой орфографии»? А послевоенный запрет Фейхтвангера, Дос Пассоса, Синклера и Мальро, «упадочников» Хемингуэя и Ремарка, после которых в американском секторе остались лишь Мальц и Говард Фаст (да и тот продержался недолго — после венгерских событий он вышел из компартии США и тут же попал в число запретных фруктов). О чём говорить, когда из изданных книг буквально вырезались внутренности — вступительные статьи, фамилии проштрафившихся редакторов — и более того, сами читатели особыми вкладками *обязывались* делать то, что недоделала цензура — заменять и выдирать?

Уму непостижимо, но так и было, и пусть этот путь прошли, например, США в период маккартизма... наши результаты на попроще замалчивания таковы, что нечего удивляться сегодня засилью на книжном рынке патентованных бездарей, «диктатуре серых редакторов», боящихся сильных и независимых авторов.

Путь к осмысленной правде в России невероятно затруднён в силу того обстоятельства, что любое слово исповеднической прямоты тут же вызывает вопросы *начальствующих лиц*. Равнодушие «рынка» к печатной и художественной истине не назовёшь феноменальным: так поступают по всему миру, из которого Россия была во многом исключением. Теперь функцию цензуры исполняют механизмы коммерческого отбора!

Понимал ли это в последние годы Станислав Бемович? Думаю, что понимал. Глаза моего учителя были зрячи и четверть века назад, и до последних лет. Увлекающийся, нервный, он любил художественную правду, заключённую в книгах, и сами книги куда больше себя самого.

И всё же окончательный вывод позволю себе сделать собственноручно: «Россия как классическая страна запрещённых книг» в двадцатом веке возвела культуру запрета и умолчания на невиданные высоты, сделав её основным стержнем, вокруг которого и поныне вертятся гуманитарные устремления российского космоса.

Говорить напрямую и сейчас не так просто, имея в виду кучу *интересантов*. Культура запрета диктуется культурой испуга перед любой правдой, будь она из самой странной области. Правды в России надо добиваться. Пугаться и недодумывать, бросать любую мысль на полдороге сделалось фетишем наших мыслителей. При таком отношении к правде удобнее всего осуществлять обман и отдельных поколений, и целого народа в его многовековой истории.

Мы от рождения загублены цензурой, принимающей самые разные — государственные, ментальные, рыночные — формы. И исхода из этого не предвидится, прежде чем не поротые поколения окончательно не сменят *пуганых ворон*. Тогда же, с накатом обесценившегося слова и исчезновением страха болтать что вздумается, окончательно уйдёт в вечность и то, что образовывало русскую культуру последних десятилетий.

